

ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДСТВА КНДР

© 2015

С. А. ПАНАРИН, Н. С. СТЕПАНОВА

Политическая история нового и новейшего времени знает немало режимов, декларирующих приверженность идеологии, принципиально враждебной всякой традиции, и тотальный разрыв с прошлым. К их числу относится режим, установившийся в Северной Корее после 1945 г. В том, как он себя репрезентирует¹ и как квалифицируется при рассмотрении со стороны, есть большие различия. Но и его апологеты, и критики, кажется, едины в том, что начинался он под флагом коммунистической идеологии и что осуществленные в соответствии с ней преобразования заметно трансформировали традиционное корейское общество. Существенным образом изменились его социальные характеристики, отношения собственности и принципы распределения. Религия была вытеснена атеизмом на обочину общественной жизни. Доступность, уровень и содержание образования теперь не те, что были до 1945 г. Сам стиль жизни, праздники и будни, поведение людей стали иными, чем прежде.

Ключевые слова: безопасность, власть, партизанский опыт, верность вождю, идеи чучхе, политика сонгун, модель союнгва, национализм.

Исторический радикализм северокорейского режима подтверждается его впечатляющим идеологическим пуризмом, гладкой преемственностью поколений. Но можно ли устойчивое воспроизводство режима и модели общественного устройства – этот своеобразный консервативный “реверс” инновации – толковать иначе, чем как неотделимое дополнение к революционному “аверсу”? Не достаточно ли для объяснения устойчивости режима измерить глубину его разрыва с корейскими традициями? Или, напротив, разрыв вовсе не был столь радикальным, как представляется на первый взгляд? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо установить, действительно ли традиции были вырваны с корнем, или они проросли в ткань нового общества, в его институты, ценности и нормы. Есть и другой метод, способный подсказать ответы, – исследование, нацеленное всего на один, зато показательный, аспект проблемы. В качестве такового мы выбрали представления правящей элиты КНДР о безопасности.

Здесь возникают два новых вопроса. Почему представления о безопасности могут послужить золотым ключиком к двери, ведущей за кулисы северокорейского театра? И почему можно ограничиться представлениями элиты?

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЛАСТЬ В КНДР: НЕРАЗДЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Ценность безопасности издавна влияет на нормы и образцы поведения людей даже там и тогда, где и когда для нее нет специального понятия. Вообще говоря, отсутствие понятия не обязательно предполагает отсутствие состояния. Возможен и такой вари-

¹ В ст. 2 Конституции КНДР прямо сказано, что Республика является **революционным государством** (выделено нами. – Авт.). (См.: [Социалистическая...]).

ант, когда понятия нет потому, что состояние, которому это понятие могло бы адекватно соответствовать, еще не обособлено в его восприятии от смежных состояний. Так, в древнеегипетском языке не было прямого соответствия русскому слову *безопасность*, английскому *security* или арабскому *аман*. Зато имелось абстрактное синтетическое понятие *маат*, вобравшее в себя целый комплекс представлений о правде, истине, справедливости, правопорядке, этической норме, законе, божественном установлении и т. д. По сути, в нем отразилась идеальная модель безопасных общественных отношений [Колганова, Петрова, 2013, с. 15–17], и можно предположить, что их слитность или неокончательная смысловая расчлененность скорее способствовала, чем препятствовала следованию *маат*.

Исследовательский проект, реализованный в 2010–2013 гг. в Институте востоковедения РАН, представил немало доказательств в пользу тезиса об универсальной значимости безопасности. Смысловое наполнение и эволюция связанных с безопасностью терминов были прослежены на примерах древних и современных языков, итальянской и бирманской культур, на опыте древнего Египта и Китая, Японии XVII – первой половины XX в. и современного Узбекистана [*Безопасность как ценность...*, 2012; *Безопасность на Западе...*, 2014]. Однако даже самые первичные формы безопасности, востребованные в любом человеческом сообществе, поскольку без них невозможно элементарное выживание, не являются общепризнанными, так как не все общества “готовы распространять их на посторонних, иностранцев и врагов” [Vok, 2002, p. X].

Что касается вопроса “почему представления элиты?”, то ответ на него лежит на поверхности. В стране с жесточайшей цензурой и почти полной закрытостью от внешнего мира только ее представления могут быть каким-то образом отслежены. Голоса “субалтернов”² из КНДР не доносятся. А если бы доносились, во многом воспроизвели бы идеал безопасности, имплицитный картине мира, насаждаемой пропагандой режима. Ведь северокорейский официоз давно обладает монополией на информацию, и, если судить по впечатляющей аргументации, приводимой А.Н. Ланьковым [Ланьков, 2013], в области информационного контроля северокорейским властителям удалось максимально приблизиться к картине, нарисованной Оруэллом [Оруэлл, 2009, с. 97–337].

Другое дело, что этот контроль вовсе не обязательно угнетает жителей КНДР так же сильно, как героев Оруэлла. Герои Оруэлла Джулия и Уинстон наделены самопроизвольной способностью отторгать навязываемую им картину мира. В КНДР свои Джулии и Уинстоны, наверное, встречаются и вне прослойки хорошо информированных людей, но вряд ли это широко распространенное явление. Большинство более или менее довольно жизнью просто потому, что мало знает об альтернативном ее устройстве и умеет находить радости и удовольствия в том, что им доступно [Курбанов, 2008].

Безусловно, изучение представлений лишь элиты влечет за собой сужение исследовательского поля и в предметном, и в когнитивном отношении. Проблемы безопасности, первостепенные для простолюдина, – сохранение жизненного цикла, создание накоплений и т. п., если и волнуют высокое начальство, то лишь в силу исключительных обстоятельств. Положение политической элиты в социальной иерархии обусловлено ее доступом к процессу принятия ключевых решений, контролю над их исполнением, возможности распоряжаться ресурсами и использованию институтов подавления. Специфика положения элиты определяет, какие аспекты безопасности находятся в центре ее внимания. Прежде всего, это ее собственная безопасность, которая в авторитарных государствах понимается как нераздельность доступа к власти (даже к “телу” верхов-

² Буквально – младшие по званию (*англ.* subalterns), расширительно – подчиненные, управляемые. В дискурсе школы Subaltern Studies, заимствовавшей сам термин у Антонио Грамши, этим понятием охватываются все те, кто поставлен в положение безгласных объектов исторического процесса. О школе Subaltern Studies см.: [Chakrabarty, 2000, p. 9–32].

ного правителя) и к личной безопасности во всех ее проявлениях – от престижных форм потребления до физического выживания. Личная безопасность, в свою очередь, непосредственно связана с безопасностью государства.

На самом деле личная безопасность и безопасность государства не противопоставляются друг другу: в представлениях элиты они неразделимы, как в *маат* – истина и правопорядок. (И тут неважно, что на понятийном уровне такое разделение, в отличие от древнеегипетской ситуации, формально осуществлено.) Как следствие, далее речь пойдет преимущественно об одном виде безопасности – национальной. Теоретически она распространяется на все природно-ресурсное, социальное и культурное наполнение пространства, очерченного границами конкретного государства. В северо-корейском случае национальная безопасность редуцируется как раз в безопасность государства, прежде всего военную³, тогда как безопасность индивида или группы, достоинства или жизни, флоры или фауны всегда может быть принесена и приносится в жертву.

КНДР: МЕСТО В ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ

Замыкание безопасности на государстве заставляет обратиться к концепции *секьюритизации* так называемой копенгагенской школы. В самом общем виде секьюритизация – это интерпретация любого процесса и/или феномена в экстраполитических терминах – в категориях безопасности как выживания [Buzan, Waever, de Wilde, 1998, p. 23–24]:

“Теоретически, любой общественно значимый вопрос можно ранжировать как не политизированный, политизированный и секьюритизированный. Первый ранг – это когда ни государство данным вопросом не занимается, ни каким-либо другим образом он не делается предметом общественной дискуссии с последующим решением. Второй – когда вопрос становится составной частью публичной политики, частично требующей правительственных решений, выделения ресурсов либо, в редких случаях, иных форм общественного регулирования. Третий же ранг означает, что этот вопрос подается как содержащий экзистенциальную угрозу, требующую для ее предотвращения таких мер и оправдывающую такие действия, которые не укладываются в рамки нормативных политических процедур”.

“Связь между секьюритизацией и политизацией не означает, что первая из них всегда исходит от государства: обе могут быть запущены и на иных площадках” [Buzan, Waever, de Wilde, 1998, p. 24]. Тем не менее, государства, при всех покушениях на их прерогативы со стороны глобального и глокального, остаются главными агентами существующих систем безопасности. Именно ими определяется динамика безопасности в любом регионе мира, от их политики в первую очередь зависят изменения в объеме и содержании безопасности [Buzan, Waever, 2003, p. 20–26]. Соответственно принципиально важна градация государств по их силе и типу, определяемому стадией развития. По силе они делятся на консолидированные и рыхлые, и в качестве субъектов безопасности первые куда эффективнее вторых.

В стадийном отношении при формальном единообразии всех государств современного мира сосуществуют три их типа: *премодерные*, *модерные* и *постмодерные*. Точкой отсчета служат модерные государства – в них наиболее ярко выражены черты идеального государства вестфальского типа⁴. Это повышенная забота о неприкосновенности суверенитета, относительная закрытость от внешнего мира, контроль над территорией и обществом либо стремление к таковому и не менее сильное – к при-

³ Показательно, что в одном из главных идеологических документов северо-корейского режима безопасность народа упоминается единственный раз и в неразрывной связи с военной безопасностью (“самооборонной”) [Ким Чен Ир, 1986, с. 57–58].

⁴ Имеется в виду представление о государстве как о равноправном самодовлеющем субъекте международных отношений в том их виде, в каком они сложились в Западной Европе на рубеже Средневековья и Нового времени, получив затем формально-правовую санкцию в Вестфальском мирном договоре 1648 г.

своеию государством исключительного права на секьюритизацию. Эти качества отсутствуют у премодерных государств. Поэтому они в отличие от государств современных, представляющих широкий спектр различий по критерию силы – от очень сильных до относительно слабых, – образуют совокупность государств слабых или вовсе не состоявшихся, неспособных или лишь частично способных к секьюритизации. В государствах постмодерных некоторые значимые составляющие современного образца, такие, например, как тяготение к закрытости или обожествление суверенности, в значительной мере преодолены. Это имеет своим следствием, во-первых, разделение права на секьюритизацию между государством и гражданским обществом; во-вторых, существенную редакцию самой повестки секьюритизации – выход на первый план уровней, аспектов или видов безопасности, не являвшихся приоритетными для классического современного государства.

КНДР в типологии копенгагенской школы – крайний вариант современного государства, в котором репрессивный авторитарный режим силой навязывает обществу “модерность” [Buzan, Waever, 2003, p. 23, 120–133]. Нам такая оценка представляется упрощенной; вопрос о том, является ли модернизация в Северной Корее исключительно навязанным процессом, остается открытым. А в том, что монопольным субъектом, задававшим и задающим направление общественной трансформации в КНДР, является управляющая им узкая верхушка, сомнений нет, что – подчеркнем еще раз – и придает такую значимость тем компонентам ее мировидения, которыми она руководствуется в политике секьюритизации. Но прежде чем перейти к их выделению, обратимся к опыту революционных по генезису режимов, чье искреннее стремление к полному преодолению прошлого ни у кого, кажется, не вызывает сомнений.

ТРАДИЦИЯ В РЕВОЛЮЦИИ: ПРИСВОЕНИЕ И ИЗОБРЕТЕНИЕ

Этот аспект хорошо изучен, и можно рассчитывать, что он поможет нам выбрать верный “путь в Пхеньян”. Наиболее известные примеры – якобинская диктатура во Франции и большевистский режим в СССР⁵. Якобинцы стремились низринуть “старый порядок” во всех его проявлениях. Они не ограничились внедрением в общественное сознание представления о монолитной внесловной гражданской нации как искомом идеале, а в политическую практику – террора как средства достижения этого идеала. Их преобразовательное рвение простиралось далеко за пределы собственно политического. Достаточно напомнить, что при якобинцах Франция получила метрическую систему, новое летосчисление и новый календарь, новые праздники и ритуалы; историческую религию они попытались заменить культом Верховного существа.

Большевики, действуя на политическом поле, широко внедрили идеи интернационализма и революционной целесообразности и активно использовали террор. Но и они не удовлетворились сферой политики – поставили вне закона традиционные религии, реформировали календарь, унифицировали систему мер и весов, почистили алфавит, уснастили русский язык аббревиатурами и идеологически выдержанными неологизмами. Кроме того, классовое происхождение они сделали единственной – за редкими исключениями – призмой, сквозь которую надлежало смотреть на любую личность и на любое культурное явление любого времени.

Во Франции в рамках национализма и рационализма институтам, обычаям и документам, унаследованным от прошлого, не просто отказывалось в праве на существование [Голобородько, 2012, с. 31–37; Сох, 2007]. Отменялась сама история, наполненная этими институтами и обычаями, дабы “темное прошлое не пятнало величия нации”

⁵ Точнее, до принятия в 1934 г. Советом народных комиссаров постановления о преподавании гражданской истории в школах и появления в 1937 г. “Краткого курса истории СССР”, в котором была подчеркнута преемственность исторического развития России, образно говоря, от Юрияка до Сталина. (Подробнее см.: [Фукс, 2009, с. 104–113; *История России...*, 2010, с. 944–948]).

[Gautherot, 1914, p. 21; цит. по: Сох, 2014, с. 46]. В России интернационализм и классовый подход послужили не менее эффективным средством переосмысления прошлого и разрыва с ним. Тем не менее, в обоих случаях в сердцевине отказа от прошлого можно обнаружить некую традицию. Применительно к революционной Франции это было сделано К. Марксом [Маркс, 1970, с. 422]:

“Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789–1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные традиции 1793–1795 годов... Так, одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета...”

Большевики еще до революции занимались тем, что Эрик Хобсбаум назвал “изобретением традиции”⁶, и не перестали этого делать после нее. В качестве *argumentum ad tantum* вспомним ленинскую периодизацию новой истории России по основным революционным вехам [Ленин, 1968, с. 255–262] и его же послереволюционные отсылки к образам и примерам якобинцев⁷. После победы нацизма в Германии, продемонстрировавшей мобилизационные возможности национализма, революционный нигилизм по отношению к прошлому сменился в России его присвоением и переписыванием на потребу нужд режима [История России..., 2010, с. 946]. На смену полной дисквалификации исторических игроков непролетарского происхождения пришло их избирательное возвеличивание.

Это была политика изобретения традиции. Однако вместе с ней и, что важно, *до нее* бальзамирование тела Ленина доказало: традиция утверждаемая сильна тогда, когда попадает в резонанс с традицией отвергаемой. Мощи вождя пролетариата оказались возможны потому, что форму и санкцию обрели в мошях христианских святых; коммунизм стал религией потому, что ниспровергнув старые религии, расчистил для себя место [Рыклин, 2009, с. 17–20].

Как видим, есть веские основания полагать, что в государствах, заявляющих о разрыве с прошлым, традиция не исчезает по команде начальства и используется самим начальством. При этом значение имеют обе стороны медали – явленная публике лицевая сторона = изобретенная традиция, и скрытая за ней, подчас не осознаваемая обратная сторона = культурное окружение инновации. Более того, учет дореволюционных моделей политического поведения и убеждений, взлелеянных старой культурой, вносит нередко наиболее весомый вклад в объяснение политики, претендующей на полную новизну.

Поэтому мы в статье сосредоточимся на оборотной стороне медали, отчеканенной тремя поколениями Кимов. Рисунок ее создавался под влиянием трех основополага-

⁶ Хобсбаум так определял изобретенную традицию: “Совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение” [Хобсбаум, 2000, с. 48].

⁷ Еще в 1904 г. он фактически представил большевиков продолжателями якобинцев: “Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ” [Ленин, 1967, с. 370].

ющих компонентов мировоззрения северокаорейской верхушки: военно-партизанского опыта первых руководителей КНДР, конфуцианской традиции в корейской культуре и корейского национализма [Асмолов, 2005; Жебин, 2006; Курбанов, 2001, с. 58–65; Ланьков, 2003].

КНДР: РЕДУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННО-ПАРТИЗАНСКИМ ОПЫТОМ

К моменту создания Корейской Народно-Демократической Республики ее руководству досталась разрушенная страна с населением, буквально изможденным последним десятилетием японского колониального владычества. Одним из его итогов стало отсутствие внутри страны сколько-нибудь влиятельной национально-политической элиты [Курбанов, 2009]. В результате в каждом из двух корейских государств у власти оказались лидеры, политическое становление которых осуществлялось за пределами страны, наполовину в эмигрантской, наполовину в инокультурной среде. В Южной Корее к власти пришел Ли Сын Ман, как политик сложившийся в космополитическом Шанхае и в США. Во главе Северной Кореи был поставлен капитан Советской Армии Ким Ир Сен, которого в течение нескольких лет называли Цзинь Жичэном – по китайскому чтению его именных иероглифов [Ланьков, 2003]. Обе характеристики передают суть ранней биографии северокаорейского вождя, образуемой двумя дополняющими друг друга опытами.

С одной стороны, это опыт партизанской борьбы. Ким Ир Сен и немалая часть его сподвижников провели достаточно долгий срок – с 1932 по 1940 г. – в спартанских условиях действующего партизанского отряда, что не могло не отразиться на формировании их характеров, а также на их видении административной системы. Корейские партизаны в Манчжурии были инкорпорированы в среду китайских партизан-коммунистов, а для тех образцом организации жизни служил Особый район Китая. Но там уже к концу 1930-х гг. получили частичное воплощение в политической практике представления Мао Цзэдуна о главенстве вождя над партией⁸. Можно предположить, что все более отвечавший им управленческий стиль, в освобожденных районах воспроизводившийся и на других ступенях партийной и управленческой иерархии, уже тогда отложился в подсознании Ким Ир Сена в качестве образца для подражания, всплывшего, когда он стал главным человеком в Пхеньяне.

С другой стороны, это опыт военной службы с преобладанием вертикальных связей и властных отношений, повторяемостью и упрощенностью социальных ситуаций, командным стилем коммуникации. Для Кима и его товарищей военная подготовка была дополнена обучением навыкам управления – “по лекалам сталинской системы” [Балканский, 2011, с. 69]. Прав А.Н. Ланьков: “партизанское и армейское прошлое Ким Ир Сена не могло не привести к тому, чтобы он стал переоценивать роль военных способов решения политических проблем” [Ланьков, 2003]. Этот компонент мировоззрения обернулся еще и изначальной редукцией безопасности: пониманием ее преимущественно в военно-тактическом ключе – как состояния, обеспечиваемого оружием и маневром и в то же время хрупкого и непостоянного.

Оба опыта оказались доминантными в ходе формирования мировоззрения Ким Ир Сена и его окружения и обрели дополнительную легитимацию благодаря успехам, которые он наблюдал в других странах: китайские коммунисты распространили свою власть из партизанских баз на всю страну; Советская Армия, сметя Квантунскую и внося решающий вклад в разгром нацистской Германии, продемонстрировала военную мощь СССР. Эти успехи свидетельствовали в пользу безопасности, достигаемой силой, терпением, единоначалием и большими жертвами.

⁸ В полную силу они проявились в ходе кампании “чжэнфэн”, или “движения за исправления стиля”, подробно описанной в: [Владимиров, 1973].

Во время становления КНДР наряду с “революционными” традициями, заимствованными у СССР и КНР, руководством страны активно внедрялись в сознание ее граждан и “традиции антияпонских партизан” [Жебин, 2006, с. 19]. Специфическая функция последних заключалась в том, чтобы прочно запечатлеть в сознании корейцев необходимость полувоенного положения, которое требовало мобилизации всех наличных ресурсов, что автоматически предопределяло сохранение низкого уровня жизни. Путем пропаганды у населения поддерживалось ощущение постоянно нестабильной ситуации – пребывания в “тылу врага” или на переднем крае обороны, проходящем по всему периметру северокорейских границ. В экономике первостепенное внимание уделялось военно-промышленному комплексу. Когда во время Корейской войны (1950–1953) и в первые годы после нее КНДР оказалась в частичной экономической блокаде, эти элементы сознания стали еще более востребованными. Бывшие партизанские командиры по-прежнему ощущали себя руководителями освобожденного района, находящегося во враждебном окружении, только площадь его выросла до размеров страны, которую следовало превратить в крепость.

Следствием такого мышления стал культ внутреннего единства, воплощающегося в одной политической линии, прочерчиваемой на карте будущего одним командиром⁹. Так понимаемое единство стало восприниматься как важнейший залог безопасности государства, а постоянные лишения воспитывали у населения привычку довольствоваться малым. Привычку, до сих пор поддерживаемую накопленной бедностью и усилиями тех, кто протяжении десятилетий твердит о победоносной силе “путей выживания” (“Мы привыкли к враждебным санкциям, у нас есть свои пути выживания в таких условиях” [Отвратительное поведение..., 2006].) Неудивительно, что вопросы выживания как стояли, так и стоят на первом месте в повседневных заботах обычного человека. Наконец, довольно быстро проявилось стремление к полной автаркии, зазвучали призывы к *чарёк кансен* – опоре на собственные силы. Одновременно Ким Ир Сен выступил инициатором движения *чхонлима* (легендарный конь, пробегающий за один день 1000 ли, т.е. 250 км) – корейского аналога китайского большого скачка [Альтов, Панин, 2004].

КНДР получала помощь от СССР, и в 1960 г. на построенных благодаря ей предприятиях производилось 40% электроэнергии, свыше 50% чугуна и кокса и 70% хлопчатобумажных тканей [Торкунов, Денисов, Ли, 2008, с. 191]. В дальнейшем объем помощи мог сокращаться, но до распада СССР не прекращался полностью. Помогала КНДР и КНР. Так что причина курса на автаркию заключалась не в ненадежности, недостаточном объеме или ограниченности внешнеэкономических связей, а в установке, вынесенной из партизанского прошлого: на регулярную помощь извне партизаны рассчитывать не могут и потому должны максимально использовать внутренние ресурсы. Такая акцентуация внутреннего, “своего” и “самосильного” обедняет и идеальное видение безопасности, и ее реально достигаемое состояние. Ведь она блокирует саму идею безопасности через *сотрудничество* с внешним, с “чужим” и “иносильным”.

КОНФУЦИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СЕВЕРКОРЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

При всей его значимости комплекс представлений о безопасности, в основе которого лежал партизанский опыт, не был всеобъемлющим и потому не мог послужить единственным источником идеологии для нового государства.

Внешне эта идеология и освящавшаяся ею политическая система воспроизводили советский образец. То же можно сказать и относительно концепции безопасности. Образно ее суть может быть передана известной каждому советскому человеку метафору

⁹ Ср.: “Партия и народ продемонстрируют свои неиссякаемые силы и добьются победы в революции и строительстве, когда они сплотятся воедино...” [Ким Чен Ир, 1986, с. 48].

рой “граница на замке”, в категориях теории секьюритизации она квалифицируется как типичная для современного государства. В действительности компоненты мировоззрения, столетиями определявшие ментальность корейцев, не исчезли – подобно тому, как под напором советского атеизма не до конца исчезли религиозные представления жителей СССР. Привнесенные в КНДР извне формы политических структур, их функционирования и идеологического подкрепления утвердились как раз в силу того, что для них имелась благодатная почва, подготовленная в течение длительного исторического периода традициями мировосприятия и нормативного поведения, характерными для конфуцианского культурного ареала. Без такого синтеза традиционного и современного¹⁰ новые веяния были бы, вероятно, отторгнуты.

Конфуцианский комплекс играл на Дальнем Востоке первостепенную роль в процессах управления. Его системообразующим элементом была, по мнению С.О. Курбанова, категория, которая на китайском звучала как *сяо*, на корейском – как *хё*, а на русский язык переводилась как “сыновняя почтительность”. *Сяо/хё* “начинается в служении родителям, переходит в служение правителю и завершается в установлении своего места в жизни” [Курбанов, 2005, с. 316]¹¹, пронизывая жизнь человека и общества отношениями круговой причинности. Можно не соглашаться с С.О. Курбановым, благо он сам убедительно показывает, что в период Чосон (1392–1897) содержание категории постепенно свелось к демонстрации знаков почтения к родителям. Но даже если историк и преувеличил роль *сяо/хё* в системе конфуцианских ценностей и норм, представляются вполне корректными три вывода, на наш взгляд, следующие из приводимых им фактов и доводов.

Во-первых, норма поведенческой почтительности к родителям изоморфна почтению к власти, так что пропагандистскому аппарату нетрудно перенести ее и на всеобщего “отца и мать” – персонификатора власти. И не имеет значения, какой идеологией обрамляется перенос: для его успеха достаточно, чтобы в семьях ежедневно воспроизводилось отношение господства (отец/патрон) – подчинения (дети/клиенты).

Во-вторых, категория *сяо/хё* попадает точно в резонанс с конфуцианскими нормами морали, господствовавшими в доколониальной Корее. В частности, с “Тремя заповедями” или “Тремя устоями”, опять-таки утверждавшими тождество политических и семейных иерархий [Курбанов, 2005, с. 184–185]:

- 1) Подданный служит государю (и государь заботится о подданном);
- 2) Сын служит отцу (и отец заботится о сыне);
- 3) Жена служит мужу (и муж заботится о жене)”.

В-третьих, еще в ханьском Китае “сыновняя почтительность” была поставлена в неразрывную связь с “верностью”: “Кто знает, что такое сыновняя почтительность, [способен] воплотить и верность [подданного]”. Ма Жуном, так передавшим мысль Конфуция, была написана специальная “Книга о верности”, где эта добродетель была представлена условием *sine qua non* стабильности государства, социальной гармонии и личного преуспеяния [Ма Жун, 2004]. Так внутрисемейное отношение оказалось опять сплетено с априорной лояльностью власти, представление о должном – “с вертикально организованной системой, выстроенной на каркасе иерархических взаимоотношений квази-семейного типа...” [Асмолов, 2005, с. 8].

Между временем господства в Корее конфуцианства и началом строительства на севере социализма пролегал период колониальной модернизации, которая могла многое стереть из наследия эпохи Чосон. Этого, однако, не произошло, так как колониальные власти делали особый упор на лояльность государству и императору, на безусловный

¹⁰ Термин заимствован из известного труда советских востоковедов. См.: [Эволюция..., 1984].

¹¹ Наставление Конфуция из трактата “Сяо цзин” (“Канон сыновней почтительности”) в корейском переводе известно как “Хёгён онхэ”. Приведённая выше цитата взята из комментированного русского перевода “Хёгён онхэ”, сделанного С.О. Курбановым и помещенного им в Приложении 1 [Курбанов, 2005].

приоритет вертикальной социальной связи по сравнению со всеми другими связями. С помощью конфуцианской идеологической “подпорки” их контроль над корейским обществом достиг такой силы, что к концу японского владычества, как полагают некоторые южнокорейские ученые, оно стало полностью тоталитарным, и это наследие “также оказало сильное влияние на официальную идеологию и политическую практику КНДР” [Жебин, 2006, с. 13]. Оно способствовало восприятию безопасности как обусловленного права¹² – в данном случае обусловленного отношением “патрон – клиент” (напомним: подданный служит власти – власть о нем заботится), и распространению базовой стратегии достижения безопасности, заключавшейся в демонстративной лояльности заместившему императора вождю.

В КНДР конфуцианское наследие неявно присутствует и в представлении о “правильном” государстве – о его социальной структуре и власти в нем, хотя для их описания в Конституции КНДР использованы привычные марксистские термины: “Власть в КНДР принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всему трудовому народу”, руководит ими Трудовая партия Кореи, руководствуются они идеями “великого вождя товарища Ким Ир Сена”, которого почитают “как вечного Президента Республики”¹³. Скрепляют эту социально-политическую пирамиду ценности верности – служения, почитания и послушания. Как было сказано в “Хёгён онхэ” [Курбанов, 2005, с. 322]:

“Если служишь правителю посредством хё, то это есть верность. Если служишь старшему посредством уважения, то это и есть послушание. И лишь не теряя верности и послушания, служат этим [своим] вышестоящим”.

Правитель потому и располагается на самом верху, что здесь он не отделен какой-либо опосредующей социальностью от Неба. Это позволяет ему выступать проводником небесной гармонии и порядка на Земле, а значит, и гарантом стабильности. В конфуцианской системе ценностей ценность стабильности поднята очень высоко [Асмолов, 2005, с. 9]. Можно говорить о культе стабильности и о не подлежащем ревизии способе ее поддержания и достижения, сводящем ее к неизменности.

Культе стабильности не может не сказываться на представлениях о безопасности. Прежде всего, в ситуации, когда различные ее аспекты конкурируют или даже вступают в конфликт, люди скорее выберут стабильность, гарантирующую выживание, чем аспект, сопряженный с риском изменений, например безопасность достоинства¹⁴. Ценностный приоритет стабильности прекрасно легитимирует идею о том, что интересы трех “этажей” государства (народ – партия – вождь) всегда и во всем совпадают. Ведь их несовпадение означало бы угрозу стабильности. Подкрепляется и представление о том, что безопасность страны недостижима без того, в чьей фигуре стабильность получает персональное воплощение, – без верховного правителя или вождя.

ЧУХЧЕ: СЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ

Как в революционной Франции и в революционной России, в КНДР синтез традиционного и современного происходил двумя путями. На первом – исподволь, без специального словесного оформления процесса, подчас вообще не сознававшегося его участниками. Так он протекал преимущественно на индивидуальном и семейно-груп-

¹² Тезис об обусловленности права на безопасность был сформулирован по результатам анализа терминов безопасности в китайском языке (См.: [Дмитриев, 2012, с. 78]). На наш взгляд, он вполне применим к Корею.

¹³ Так записано в ст. 4 Введения к Конституции КНДР [Социалистическая...].

¹⁴ Идея безопасности достоинства как стержня безопасности отличает творчество японского писателя Кэндзабуро Оэ (см.: [Zeidenstein, 1995, p. 147, 149]), выходяца из страны, входящей в культурный круг конфуцианства. Думается, однако, что решающую роль сыграл его личный, а не коллективный опыт.

повом уровне, в повседневных практиках, включая и рутинные контакты между управляющими и управляемыми. Вторым стал путь селекции – отрицания одних компонентов наследия, принятия, использования и частичной трансформации – других.

На наш взгляд, пример селективного подхода к традиции, не столько ее изобретения *a la Hobsbawm*, сколько придания ей облика революционной инновации, – философия *чучхе*. На первый взгляд, ее стержневая идея о том, что “человек является хозяином всего” и “властелином мира” вторит общему коммунистическому принципу агрессивного антропоцентризма. Но она восходит и к корейской традиции – правда, не к конфуцианству, а к распространившемуся в конце XIX в. учению *тонхак*, одним из центральных постулатов которого было “уравнение” человека с Небом [Жебин, 2006, с. 26]. Вдобавок одной из причин появления *чучхе* стало намерение режима противопоставить северокорейский путь развития советскому и китайскому. Это видно уже из первой речи Ким Ир Сена, произнесенной в декабре 1955 г., где прозвучало слова “чучхе” [Балканский, 2011, с. 144]. Идеи *чучхе* стали активно внедряться с 1963 г. Полтора десятилетия их пропаганда шла крещендо и в 1980 г. увенчалась принятием нового Устава Трудовой партии Кореи. В нем *чучхе* объявлялась единственной идеологией партии [Жебин, 2006, с. 28], а значит – и всего общества.

У *чучхе* – четыре ведущих принципа. Это самостоятельность в идеологии, независимость в политике, самодостаточность в экономике и самооборона при защите страны [Ким Чен Ир, 1986, с. 40–61]. Вообще для граждан КНДР учением *чучхе* определяется широкий круг представлений об основных законах общественной жизни, и часть из них близки, а то и тождественны конфуцианским представлениям.

Пожалуй, наиболее яркое свидетельство избирательного “присвоения” конфуцианской традиции властями КНДР – нормативное отношение к главе государства. В конфуцианстве верность подданных правителю – один из столпов мироздания. Но и “ядром взгляда на революцию, основанного на идеях *чучхе*, является преданность партии и вождю”. Ибо вождь начинает “дело социализма и коммунизма”, а осуществляется это дело “под руководством партии и вождя”. “Революционное движение побеждает только под руководством партии и вождя. Следовательно, чтобы выработать правильный взгляд на революцию, требуется обязательно положить в основу воспитания чувство беззаветной преданности партии и вождю” [там же, с. 73]. И “только тот, кто до конца остается верным партии и вождю, даже если ради этого придется отдать свою жизнь, ... является настоящим революционером с твердым *чучхейским* взглядом на революцию” [там же, с. 74].

Оба “пути” одинаково утопичны в том смысле, что приписывают этической норме мироустроительную функцию. Но нельзя не заметить и различия, свидетельствующего не только об избирательном, но отчасти и преобразующем подходе “чучхейстов” к конфуцианству. Если в конфуцианстве казуальная связь “верность → мировая гармония” обеспечивает в идеале возврат к совершенному прошлому, то в идеологии *чучхе* она обещает счастливое будущее.

НАЦИОНАЛИЗМ В КНДР: КРОВЬ, ПОЧВА И НЕГАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Философия *чучхе* – не только свидетельство обретения КНДР идеологической самостоятельности, но и важнейший способ самоутверждения северокорейского национализма. Есть две точки зрения о том, с какого времени национализм доминирует в северокорейской идеологии. Одну, полемически крайнюю, сформулировал Брайан Майерс: “параноидальный национализм” с выраженным расовым оттенком направляет политику в КНДР с первых лет ее существования (“from the start”) [Myers, 2010, p. 15]. Сторонники второй говорят об эволюции от интернационализма, марксизма-ленинизма и патриотизма через культ личности Ким Ир Сена и *чарёк кан-*

сен к господству национализма¹⁵. Эта позиция представляется более историчной; но для нас важно, на что указывают обе: национализм фактически стал – если даже изначально не был – еще одним столпом представлений руководства КНДР о безопасности.

Национализм не может жить без врагов. В северокорейском сознании это враги внешние – японцы и американцы. Внутреннего врага в лице этнического “другого” северокорейские националисты не имеют, так как в Корее нет этнических меньшинств. Это не означает полного отсутствия внутренних угроз. Постановление “О дальнейшем усилении работы с различными слоями и группами населения”, принятое VIII пленумом ЦК ТПК в 1964 г., поделило жителей КНДР на три слоя: “основной”, “колеблющийся” и “враждебный” [Жебин, 2006, с. 22]. Упоминание подрывной деятельности внутренних враждебных элементов до сих пор присутствует в Конституции КНДР¹⁶. Но их выделение основывается на социальных, политических и мировоззренческих характеристиках, которые не рассматриваются как неизменные, по крайней мере, теоретически, доказательством чему служит широко практикуемая политика перевоспитания в трудовых лагерях¹⁷. Иное дело – идентичность по крови: изменить ее может только приток чужой крови (если он будет допускаться). Кровь “естественно” питает сердце и мозг корейского национализма, объединяет всех корейцев, за исключением правящих на Юге “прислужников американского империализма”. Врожденная причастность этой линии делает человека частицей единого целого, уникального своей однородностью; и по качеству гомогенности, ставшей “духовным источником единства, которое необходимо в... борьбе за вечное развитие и процветание нации”, корейская нация превосходит все остальные [Многонациональное...].

Население Кореи действительно моноэтнично. Вспомним и о закрытости КНДР, мизерности доли ее жителей с опытом межэтнических контактов, что исключает проверку мифа о превосходстве **жизненного опыта**. Вряд ли можно точно оценить глубины его интериоризации населением страны; но болезненная реакция северокорейского генерала на идею межэтнических браков говорит о многом [Ланьков, 2009]. Он – из тех, кто отвечает за национальную безопасность, и его восприятие свидетельствует, что идентичность по крови легко может быть секьюритизирована властью.

Любой национализм самозабвенно занимается реинтерпретацией, мифологизацией и фальсификацией истории. Северокорейский – тоже, при этом его концепция истории не блещет оригинальностью. Корейские националисты верят в миф о глубокой древности своего этноса, история которого, по мнению ученых по обе стороны 38-й параллели, насчитывает не менее пяти тысяч лет. Как безапелляционно сформулировал японский политолог, этнический кореец и поклонник КНДР и ее мудрых руководителей Ким Мён Чхор [Ким Мён Чхор, 2001, с. 10–11]:

“Корейская нация славится в Восточной Азии своей древней, пятитысячелетней историей. Она имеет возможность гордиться и тем, что у нее за плечами история более чем тысячелетнего процветания единого государства”.

“Удревление” этнического прошлого – типовой структурный элемент националистического исторического мифа и, пожалуй, самый излюбленный. Ибо, уверовав в максимум “чем древнее, тем славнее”, легко претендовать на величие в настоящем и/или его обретение в будущем¹⁸.

¹⁵ Типичный пример – текст молодой исследовательницы М. Наср из Университета Сиднея [Nasr, 2013]. Этот подход представлен и в цитированных трудах отечественных корееистов.

¹⁶ В ст. 12 [Социалистическая...].

¹⁷ Безусловно, политика крайне жесткая, даже жестокая (см.: [Балканский, 2011, с. 187]).

¹⁸ Этот элемент прекрасно виден в дискурсе постсоветских националистов (см.: [Панарин, 1991, с. 30–37; Савва, 2001, с. 86–107; Шнирельман, 2002, с. 128–147; Shnirelman, 2001]).

В КНДР сохраняется вера в то, что корейцы всегда жили там, где живут сейчас. Тем самым архаичная и неverifiedируемая связь по крови легитимируется национализмом почвы, чья собственная легитимность обосновывается уже не мифом, а реальностью – территорией преемственной корейской государственности, ныне вписанной в границы современного государства. Северокорейская националистическая версия истории – *автохтонная*. Этим она близка интерпретации истории в позднесталинском СССР и противопоставляется *миграционной* версии, пользующейся определенной популярностью на Юге. “Миграционисты” провозглашают предков бродячими “цивилизаторами”, еще в древности разнесшими высокую культуру по всему Старому и даже Новому свету¹⁹. Правда, в последнее время в КНДР налицо стремление вписать в ареал корейского этногенеза всю Манчжурию и российское Приморье [Ланьков, 2002]. Но попытки расширить пространство культуротворчества не отменяют признания исконности пребывания в нем предков, принцип автохтонности сохраняется, и все, что может его “разбавить”, не должно даже упоминаться [там же].

Майерс назвал северокорейский национализм расистским. Мы полагаем такую квалификацию анахронистическим суждением по аналогии. Да, в нацистской Германии чистота крови считалась генетическим преимуществом. Но “линия крови” может пониматься и как пространственно-временная и культурная преемственность, не имеющая отношения к биологии. Здесь уместно вспомнить о феномене культурного этноцентризма в средневековых государствах Дальнего Востока. Образец был задан китайской моделью мира, она была воспринята в Корее и Японии и долгое время оставалась в них неизменной. Но в эпоху Чосон в первом государстве, Токугава – во втором были разработаны иные модели. Логика их построения во многом следовала китайскому образцу, однако центрированы они были по-другому: корейская – на Корею, японская – на Японию [Мещеряков, 2012, с. 161–176]. В Японии “национальная” модель освящала изоляционизм сёгуната. Толчком к построению корейской модели *союнгва* послужили память о японской агрессии 1592–1598 гг. и приход к власти в Пекине династии очередных варваров – маньчжуров. Первое побуждало к тому, чтобы поддерживать с Японией отношения добрососедства, одновременно позиционируя себя с нею на равных; второе – к тому, чтобы не раздражать могущественного цинского сюзерена и в то же время дистанцироваться от него [Jeong-Me Lee, 2010, p. 305–318]. *Союнгва* – концепция Малого центра мира в Корее – решала обе задачи. Пусть Корея вынуждена быть вассалом варваров и искать дружбы недавних врагов, она сохраняет внутреннее превосходство, потому что унаследовала от рухнувшего минского идеала чистоту “культурной крови”. Неслучайно именно в период Чосон в Корее происходил ренессанс конфуцианства, оно вытеснило буддизм и стало господствующей идеологией [Толстокулаков, 2010].

Союнгва создала прецедент разрешения противоречия между осознанием внешних угроз безопасности, которые корейцы не в состоянии устранить полностью, и необходимостью сохранения самоуважения для поддержания культурной целостности. В то же время она была прецедентом выбора негативной идентичности, т.е. такой, для которой характерны страх перемен, некритическое принятие авторитетного мнения и стереотипных оценок, а в предельном выражении – “подмена этики этикетом, поступка – ритуалом, уверенности – самоуверенностью и гордости – гордыней” [Панарин, 2011, с. 208–201].

¹⁹ Неть числа таким опусам. Можно вспомнить и фантастические изыскания поклонников гиперборейской теории, и “творчество” Мурада Аджи, приписавшего всю русскую и европейскую культуру тюркам. Но в качестве конкретного примера сошлемся на работу, написанную, увы, профессиональным филологом, академиком Татарской академии наук [Каримуллин, 1995].

Историческая ситуация, в которой оказалась Северная Корея после краха социалистической системы, изоморфна той, к которой пришлось приспособляться династии Чосон. Активные субъекты политического сознания в КНДР пересоздали картину мира таким образом, чтобы заново утвердить национальную идентичность в ее негативистском варианте (как с катастрофическими последствиями случилось в Японии в межвоенные десятилетия XX в. [Мещеряков, 2012, с. 170–173]).

При этом мы не имеем в виду, что Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и их идеологические службы рылись в исторических архивах и перечитывали конфуцианскую классику. К выбору негативной идентичности их в первую очередь толкала логика неподконтрольной власти; но за идею национальной исключительности “голосовали” и традиции воспитания и поведения, восходящие к прошлому, и реальная моноэтничность страны, и вера в непрерывность ее истории и территории на протяжении тысячелетий.

Отношение к прошлому как к фундаменту идентичности и его националистическое толкование интегрируются в систему представлений о должном, а отступление от них грозит усомнившимся полной утратой безопасности. Причем вовсе не обязательно эта утрата произойдет вследствие карательной санкции – через сомнение в привычном человек может самостоятельно прийти к крайне болезненному ощущению полной утраты безопасности. Когда информационные потоки интенсивны и разнообразны, они приучают к сравнению и сомнению; когда они слабы и однообразны, сомнение непривычно и болезненно. Не сомневаться – значит жить спокойно, т.е. безопасно, и северокорейская картина мира потому и прочна, что на свой лад создает ощущение такой жизни. Сказанное относится и к одному из обязательных условий индивидуальной безопасности – к некритическому восприятию санкционированной властью версии национальной идентичности, образуемой тремя основными несущими конструкциями. Это модерный “столп” гражданской принадлежности, архаичный “столп” крови и их соединяющая “перемычка” почвы. С высокой степенью уверенности можно утверждать – и тут мы солидарны с Майерсом [Myers, 2010, p. 15] – что таким образом выстроенная версия идентичности разделяется основной массой жителей КНДР. Поэтому угрозы ей в целом и каждой конструкции в отдельности – неважно, реальные или воображаемые – открывают дорогу секьюритизации с последующей мобилизацией ресурсов и эмоций.

* * *

Национализм стал играть в КНДР решающую роль при формировании представлений о безопасности и об угрозах ей, от марксизма осталась только фразеология. Но марксизм сделал свое дело, послужив и кладезем опыта государственного строительства, и дискурсивной формой, позволившей приспособить к реалиям XX века корейское давнее и недавнее историческое наследие. К тому же декларируемая приверженность марксизму-ленинизму использовалась режимом для легитимации своей власти по правилам, принятым в социалистическом лагере, и для получения оттуда экономической и военной помощи.

Распад социалистической системы и экономические трудности, вызванные прекращением помощи социалистических стран и стихийными бедствиями 1990-х гг., побуждали северокорейских политиков и идеологов к выработке нового курса, который обеспечивал бы сплоченность населения, несмотря на все трудности. Таким курсом стал *сонгун*, или политика “Армия на первом месте”²⁰. Она предполагает превращение армии в главного “субъекта революции”, из гаранта безопасности – в ее творца. Так безопасность, которая и без того была благом, даруемым властью подданным в обмен на лояльность, еще более от них отчуждается и еще больше проблематизируется, раз условием выживания становится ощущение незащищенности – ядерный шантаж, с по-

²⁰ Подробно см.: [Soyoung, 2003, p. 293–294; Панкина, 2011].

мощью которого Пхеньян рассчитывает выправить бедственное экономическое положение [Степанова, 2010, с. 67].

В целом ретроспективный взгляд на структуру представлений о безопасности руководства КНДР подтверждает, как нам кажется, гипотезу об ее мировоззренческой преемственности с традицией и позволяет сделать вывод о значительных подвижках в соотносительной значимости основных элементов этой структуры – об ослаблении и уходе в тень одних из них (марксизм-ленинизм), все более громком звучании других (национализм). В заключение позволим себе предположить, что главной причиной этих изменений стал углубляющийся разрыв между должным и сущим – не столько даже между стратегическим видением безопасности и ее доступным состоянием, сколько между тем, чего хотелось бы, т.е. идеалом (который тоже не мог не меняться) и восприятием того, что есть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альтов А., Панин А. *Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате*. М.: Олма-пресс Образование, 2004 – <http://knigi-chitatu.ru/read/137430.html> (дата обращения: 27.05.2014).
- Асмолов К.В. *Корейская политическая культура: традиции и трансформация*. М.: ИДВ РАН, 2005.
- Балканский А. *Ким Ир Сен*. М.: Молодая гвардия. 2011 (Жизнь замечательных людей).
- Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох и культур* (Материалы международного семинара, г. Суздаль, 15–17 ноября 2011 г.) / Отв. ред. С. Панарин. СПб.: Интер-социс, 2012.
- Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления, концепции, ситуации*. Материалы международной конференции, Москва, 15–16 октября 2012 г. / Науч. ред. С.А. Панарин, Д.И. Польшвинный. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013.
- Владимиров П.П. *Особый район Китая. 1942–1945*. М.: Изд-во АПН, 1973.
- Голобородько Д.Б. Национальный архив: политическая история памяти // *Культура и революция: фрагменты советского опыта 1920–1930-х гг.* / Отв. ред. Е.В. Петровская. М.: ИФРАН, 2012.
- Дмитриев С. Безопасность в Китае: термин и коннотации // *Безопасность как ценность и норма: опыт разных эпох и культур*. СПб.: Интер-социс, 2012.
- Жебин А.З. *Эволюция политической системы КНДР в условиях глобальных перемен*. М.: Русская панорама, 2006.
- История России. XX век: 1894–1939* / под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ, 2010.
- Каримуллин А. *Прототюрки и индейцы Америки: по следам одной гипотезы*. М.: Инсан, 1995.
- Ким Чен Ир. *Об идеях чучхе*. Пхеньян: Изд-во лит. на иностранных языках, 1986.
- Ким Мён Чхор. *Ким Чен Ир: день объединения Кореи*. Пхеньян: Изд-во лит. на иностранных языках, 2001.
- Колганова Г.Ю., Петрова А.А. Представления о безопасности в Древнем Египте и Ассирии: “теория” и “практика” // *Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления, концепции, ситуации*. Материалы международной конференции, Москва, 15–16 октября 2012 г. / Науч. ред. С.А. Панарин, Д.И. Польшвинный. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2013.
- Конфуцианство (confucianism) // *Национальная энциклопедическая служба*. <http://terme.ru/dictionary/183/word/konfucianstvo-confucianism> (дата обращения: 19.05.2014).
- Курбанов С.О. Иден чучхе: конфуцианская традиция // *Восточная коллекция*. 2001, № 4 (7).
- Курбанов С.О. *История Кореи: с древности до начала XXI в.* СПб.: Изд-во СПб.ГУ, 2009.
- Курбанов С.О. *Корейские конфуцианские памятники письменности об универсальной категории сыновней почтительности (XII – начало XX века)*. Дисс. ... докт. ист. наук. СПб.: СПб.ГУ, 2005.
- Курбанов С.О. Прогулка по Пхеньяну, или размышления о Северной Корее // *Российская ассоциация университетского корееведения*. 06.12.2008. http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=620%3A2011-04-02-15-18-59&Itemid=142&lang=ru (дата обращения: 14.10.2013).
- Ланьков А.Н. Два источника и две составные части корейского национализма (часть 1). [2002]. <http://ttkkk.livejournal.com/204771.html> (дата обращения: 14.05.2014).
- Ланьков А.Н. Ким Ир Сен: попытка биографического очерка // *Хронос*. Статьи на исторические темы. 2003. http://www.hrono.info/statii/2003/kim_ir_sen.html (дата обращения 05.06.2013).
- Ланьков А.Н. Официальная пропаганда в КНДР: идеи и методы // *Русский переплет*. 07.02.2013. <http://www.pereplet.ru/history/Author/Russ/L/lankov/lanprop.html> (дата обращения: 14.10.2013).
- Ланьков А.Н. Расово правильные взгляды в Пхеньяне // *Случайные заметки Андрея Ланькова*. 06.03.2009. <http://ttkkk.livejournal.com/151273.html> (дата обращения: 18.05.2014).
- Ленин В.И. Памяти Герцена // *Полное собрание сочинений*. Т. 21. М.: Политиздат, 1968.
- Ленин В.И. Шаг вперед, два шага назад // *Полное собрание сочинений*. Т. 8. М.: Политиздат, 1967.

- Ма Жун. “Книга о верности”. Предисловие, перевод и примечания И.Ф. Поповой // *Познание запредельного. Современное востоковедение и духовные ценности Востока* [Текст воспроизведен по изданию: Ма Жун. Книга о верности // *Письменные памятники Востока*. Вып. 1. 2004]. <http://www.torchinov.com/материалы/первоисточники/книга-о-верности> (дата обращения 13.10.2013).
- Макаренко В.П. Феномен достижений и успехов // *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований*. 2009, № 3.
- Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. и Энгельс Ф. *Избранные произведения в 3-х тт.* М.: Политиздат, 1970. Т. 1.
- Мещеряков А. Эволюция концепции безопасности в Японии: XVII – первая половина XX века // *Безопасность как ценность и норма*. СПб.: Интер-социс, 2012.
- Многонациональное, многорасовое общество – угроза для нации // *Нодон Синмун*. 27 апреля 2006. Перевод Андрея Ланькова: <http://tttkkk.livejournal.com/151273.html> (дата обращения 18.05.2014).
- Оруэлл Дж. *Скотный двор*. 1984. Памяти Каталонии. Эссе. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009.
- Отвратительное поведение политических шарлатанов // *Нодон Синмун*, 25 сентября 2006.
- Панарин С. Вместо послесловия: двенадцать тезисов о региональной идентичности // *В поисках России: серия публикаций к дискуссии об идентичности*. Т. 3. *Восточная Россия – Дальний Восток* / Сост., отв. ред. С. Панарин, ред. С. Михайлова. СПб.: Интерсоцис, 2011.
- Панарин С. Национализмы после СССР: мировоззренческие истоки // *Свободная мысль*. 1991, № 4.
- Панкина И.Ю. *Политика приоритета армии (сонгун) в КНДР: истоки, сущность и формы проявления*. Дисс. ... канд. ист. наук. М.: ИВ РАН, 2011.
- Рыклин М. *Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция*. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
- Савва М. Мифологемы – знамена сепаратизма (на примере Северного Кавказа // *Вестник Евразии*. 2001, № 3.
- Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики*. <http://ru.wikisource.org/wiki...> (дата обращения: 27.05.2014).
- Степанова Н.С. *Информационное противоборство между Японией и КНДР (политологические аспекты)*. Дисс. ... канд. наук. М.: Дип. академия МИД РФ, 2010.
- Толстокулаков И. Культура государства Чосон // *Вся Корея*, 2010 – <http://www.all-korea.ru/knigi-o-koreii/igor-tolstokulakov/kultura-gosudarstva-coson> (дата обращения: 27.05.2014).
- Торкунов В.В., Денисов В.И., Ли В.Ф. *Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории*. М.: Олма Медиа групп, 2008.
- Фукс А.Н. Формирование советской моноконцепции отечественной истории и ее отражение в школьном учебнике А.В. Шестакова // *Вестник Московского государственного открытого университета*. 2009, № 2.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиции // *Вестник Евразии*. 2000, № 1 (8).
- Шнирельман В.А. Идентичность и образы предков: татары перед выбором // *Вестник Евразии*. 2002, № 4.
- Эволюция традиционных обществ: синтез традиционного и современного* / Отв. ред. Л.И. Рейснер, Н.А. Симония. М.: Глав. ред. вост. лит., 1984.
- Bok S. *Common Values*. 2nd ed. Columbia: University of Missouri Press, 2002.
- Buzan B., Waever O., de Wilde J. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder (CO): Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Buzan B., Waever O. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Chakrabarty D. *Subaltern Studies and Postcolonial Historiography* // *Nepantla: Views from South*. 2000, Vol. 1, Issue 1. <http://libcom.org/files/subaltern.pdf> (access date: 28.09.2013).
- Cox K.L. *Ideology, Practicality, and Fiscal Necessity: The Creation of the Archives Nationales and the Triage of Feudal Titles by the Agence Temporaire des Titres, 1789–1801*. The Florida State University DigiNole Commons Electronic Theses, Treatises and Dissertations, 2007. <http://diginole.lib.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2742&context=etd> (access date: 05.04.2014).
- Gautherot G. *Le vandalisme Jacobin: déstructions administratives d'archives, d'objets d'art, de monuments religieux à l'époque révolutionnaire*. P.: Gabriel Beauchesne, 1914.
- Jeong-Me Lee. Chosŏn Korea as Sojungwa, the Small Central Civilization: Sadae kyorin Policy and Relations with Ming/Qing China and Tokugawa Japan in the Seventeenth Century // *Asian Cultural Studies*. 2010, Vol. 36. http://subsites.icu.ac.jp/iacs/journal_page/PDF/36/ACS36_14Lee.pdf (access date: 23.05.2014).
- Myers B.R. *The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why It Matters*. Brooklyn: Melville House, 2010.
- Nasr M. *The Development of Nationalism in North Korea*. [2012]. congress.aks.ac.kr/korean/.../2_1357624894.pdf (access date 20.05.2014).
- Shnirelman V.A. The Value of the Past: Myth, Identity and Politics in Transcaucasia // *Senri Ethnological Studies*. № 57. Osaka: National Museum of Ethnology, 2001.
- Soyoung K. State Building in North Korea: From a ‘Self Reliant’ to a ‘Military-First’ State // *Asian Affairs*. 2003, vol. XXXIV, № III.
- Zeidenstein G. Population, Women, and Security: A Reflection // *Common Security in Asia: New Concepts of Human Security* / Ed. by Tatsuro Matsumae and L.C. Chen. Tokyo: Tokai University Press, 1995.